

Взгляд мазками нервными, горячими
грай вороний ловит налету,
где стога, как странники незрячие,
по лугам к околице идут.

Берег в лодках — все давно причалили,
в дальний ящик летние дела.
Нет, постой-ка, вон, пастушья чалая
жеребёнка в зиму родила.

Как трясётся... Ноги — будто колышки.
Рыжей масти, а к копытам бел.
Полетит по жизни лёгким пёрышком,
лишь бы в эту зиму уцелел.

Заметут метели оголтелые,
ни дорог, ни звука, ни примет.
Как зима седая, тоже белая,
ждёт старушка сына много лет.

Ждёт в мольбе ночными недосыпами,
днём по тропке ходит до ворот.
Лишь бы нынче вовсе не засыпало,
дай ей Бог дожждаться, кого ждёт.

В нашем доме время — будто сколото,
будто снимки в рамках, дни стоят.
Мы на давнем — счастливы и молоды,
а на близком — смотрим невпопад.

Ты читаешь Пушкина по памяти,
я шлифую старую блесну...
Дай нам всем... пройти глухие замяти
и влюбиться в новую весну.

Я дотяну до ломкого апреля
в берлоге каменной заснеженных домов,
а под капель пойду шагами мерить
твой срок, распутица беременных холмов.

Бродяжить буду от ступней до лика
и голым плавиться в кипящих венах рек.
Глаза впитают солнечные блики,
и ливни скатятся по тонкой коже век.

И распахнут мне двери континенты —
на Юг, на Север мне, на Запад, на Восток.
И весь как есть запас дорожной ленты
Дружище-шар земной раскинет мне у ног.

Я помашу рукой жилищу финна,
потом потопаю в морскую благодать —
к волне с улыбкой на лице дельфина
я с поцелуем буду долго приставать.

Я обниму по-братски Джомолунгму,
в индусском рубище шагну в священный Ганг.
И в океан под парусом Колумба
уйду к Америки далёким берегам.

Гитар гавайских голос бирюзовый
откроет таинство бессмертия души.
Умру в блаженстве и воскресну снова,
вдыхая музыку, — спешить, спешить, спешить.

Привет, Айдахо, Теннесси, Огайо!
В Каньоне гулко — можно духов вызывать.
Мне б, в Эквадор по Мексике шагая,
джинсу техасскую о кактус не порвать.

Горяч от танго воздух в Аргентине,
а в Рио — самбы полыхает карнавал.
И снова бег крылатой бригаантины
разрежет надвое навстречу бьющий вал.

И там, где был и где ещё я буду,
есть в многоликости связующая нить:
везде в одном похожи очень люди,
в великой данности — умении любить.

Ветер на паперти люто, по-мёртвому,
лижет согбенные спины.
Пляшет юродивый, что ему, вёрткому,
в ветхой рябой лоскутине.

В серой прорешине белые косточки,
вечно сожжённые снегом.
Гули слетелись — рассыпались горсточки,
сыты голубушки хлебом.

В сроки подвинулись створы тяжёлые,
веев под куполом чудом.
Будем за здравие жечь свечи жёлтые,
за упокой ставить будем.

Колокол, стопами к небу привязанный,
бьётся — слепой эпилептик.
Души нагие, молитвой помазаны,
мир вам и долгие лета.

Солнце холодное глянуло искоса,
ранние сумерки ныне...
Всё, что просили, в чём каялись истово,
вечером сонным остынет.

Мир до рассвета забыл очертания
в лапах у белой тигрицы.
Гули уснули, и свечи истаяли...
Всё новым днём повторится.

Горы Алтая

Там всё пустое ветер вымел,
холодных скал хранитель гордый.
Как опрокинутое вымя,
сосцы воткнули в небо горы.

И если ниже от вершины
стекают тучи по отрогам,
скажите всем, кто жив в долинах,
что это — пар дыханья Бога.

Немой, как в праздничный молебен,
стою под куполом огромным,
шаги тяжёлые на небе
считают пушечные громы.

В хрустальных чашах изумрудом
налит бальзам кедровой нивы.
Я пью, вдыхая полной грудью,
живую влагу, воздух-диво.

Стремясь по каменной дороге
в далёкий путь под небесами,
глядит, вздымаясь на порогах,
Катунь зелёными глазами.

А там, где никогда не тает
высокий лёд утёсов трудных,
Белуха в нить века свивает,
седой монах земли безлюдной.

В садах застывших горных звеньев
живёт природа-недотрога.
И сердце слышит откровенье,
что здесь врата сокрыты к Богу.